
pocket**book**

rocket**book**

Максим ГОРЬКИЙ

Детство. В людях.
Мои университеты



Москва
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г71

Оформление серии *А. Саукова*

В оформлении обложки
использована репродукция картины
«Петербургский дворик»
художника *К.Е. Маковского*

Горький, Максим.

Г21 Детство. В людях. Мои университеты / Максим Горький. — Москва : Эксмо, 2024. — 704 с.

ISBN 978-5-04-104604-0

Трилогия «Детство. В людях. Мои университеты» Максима Горького автобиографична, динамична и воссоздает панораму жизни рабочей России конца XIX века. С размахом и подлинным реализмом, требующим от писателя честности и художественной смелости, перед читателем предстают судьбы людей разных сословий и профессий. И одновременно выстраивается судьба главного героя, история его формирования и становления.

«В детстве, — писал Горький, — я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-104604-0

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ДЕТСТВО

Сыну моему посвящаю

Глава I

В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за нее; мне боязно и неловко.

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

— Прощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, — только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я ее.

Она ответила:

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувыркоком, — это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано.

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такую, — она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, все на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, — причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами.

В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено темной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу;

ее слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница...

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребенок.

— Слава тебе, Господи! — сказала бабушка. — Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

— Отойди, Ляня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, господи, — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землей, а она все еще стоит.

Мужики гулко шлепали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви, среди множества темных крестов.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. — Поплакал бы!

— Не хочется, — сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она.

Все это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут, — ответила она. — Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льется мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся, — говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поела чего маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Где же матрос?

Вот и слова у нее странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но толстая — она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша, — крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошел братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю заруют?

— А как же? Заруют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как ее горе ушибло!

Над нами загудело, завывло. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходит с парохода, — значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

— Это астраханский, из каюты...

Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем:

— Я тебе задам!

Шум над головою становился все тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошел к двери. Она не открывается, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею си-

лой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:

— Видно, в наказание господь дал, — расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянью! А ты спи! Еще рано, — солнышко чуть только с ночи поднялось...

— Не хочу уж спать!

— Ну, ино не спи, — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. — Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и теплым

светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг новое, все меняется; зеленые горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенется она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чем плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток летавёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Еще!

— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают ее водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое, стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос — вся она, мощная и твердая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! По-радуйся!

Мать хмуρο улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, оцетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро глядя щеки ее маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх, вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертась, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На што они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!

И взрослые, и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаяй вороватых воробьев металась ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко

горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос...

Глава II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухню, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на бабушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед,

стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая, рябая нянька Евгенийя выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михайла, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рамоуойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:

— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же — маленький против нее — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх, вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые,

с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед сидел против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубашка измята, на коленях штанов красовались большие заплата, а все-таки он казался одетым и чище, и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажать!
А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! — сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать плаття, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!